

## ЛЮБОВЬ СТАРИКА

### 1

На мельницу Степаныч выехал на рассвете. Бричка катилась под уклон резво. Мешки с зерном, насыпанные не под завязку, плотно прилегли один к другому, будто сливались в одно целое. «Ну вот, наконец я собрался смолотить зерно, а то дочка уже скребла по сусекам. А спрашивается, чего тянул? Какой из меня работник уже! Придумал, что нужен я совхозу, а без меня обошлись бы легко...»

Никто толком не знал, какую должность в совхозе занимает Степаныч по документам, а по сути он был правой рукой Коваленко, директора совхоза. Когда не было директора на месте, Степаныч решал почти все вопросы, кроме финансовых: посылал машину за людьми в поле, отправлял горючее, а в страдную пору пропадал в степи. От него получали нагоняй люди, проводившие время на работе «лишь бы день до вечера».

— Так ведь день длинный, Степаныч, надо и отдохнуть маленько, — оправдывались те же скирдовщики, которых он заставлял спать.

— День-то длинный, да дела у вас короткие! А ну-ка, дождь польётся в ваш развороченный скирд... Сколько труда пойдёт насмарку... Видите, вон и тучи колтунятся.

Скирдовщики вставали, завершали стог, и сам он пытался кинуть навилень, другой, на что ему говорили:

— Да, ладно, Степаныч, не могёшь ты! Куда тебе с твоей ногой...

Ногу его изувечила белогвардейская пуля, когда ещё подростком был.

Доставалось от него и скотникам, которых ругал за пьянство и расхлябанность, за угробленные автопоилки, которые только поставили на ферме.

— Нету у вас совести! Дома со своим добром так обращаетесь? А теперь выкладываете денежки за ремонт. Я вам тут не потатчик! — начинал он свою очередную проповедь — так сельчане называли его наставления.

Особенно горячился Степаныч, когда ему говорили, что он печётся о совхозном рубле как будто о своём.

— А ну, кто там это сказал? Кому деньги совхозные — сор?!

Он начинал рассказывать о том, что в войну коровники были не приведи господь. Бескормица. К весне коровы съедали даже солому, которой были покрыты коровники. И хуже того — падали коровы от

бессилия, и их впятером или вшестером бабы вытаскивали на воздух, на пробившуюся травку, подоспевшую к губельному для коров часу...

— Я научился считать совхозные деньги тогда, — говорил он вдруг осевшим, глуховатым голосом, — когда сам ходил по дворам и по горстке выпрашивая семена, чтоб хоть наполовину засеять поле. А ты, умник, пришёл на все готовенькое... Сам бы повытаскивал тех охлявших от голода коров.

Мучился Степаныч, что не ушёл вместе с сыном Иваном на фронт, глядел с ненавистью на укороченную ногу: «Культияпка проклятая...» Успокаивал себя тем, что и тут он был нужен земле и людям...

Поскрипывают колёса, похрапывают лошади: не такой уж тяжёлый воз, а по грунтовой дороге — тяжело, режут обода землю. Не подстёгивает Степаныч, лошадям самим неохота телепаться еле-еле.

Он увидел баб, едущих на подводе на работу, кивнул, когда они хором поздоровались с ним. Про каждую из них он знает всё: жизнь его прошла рядом с ними. Ну, разве только кто из молодых мало знаком! «Особенно трудно было в войну, — думает Степаныч, — до неё бабы другими были, а потом она их всех перековала. Иными стали и на внешность, и характером...»

Вспомнился почтальон, что нёс ему похоронки: он распорядился не отдавать их бабам.

— Побойся бога, Иван Степанович, — говорил ему почтальон, — баба порой песню запоёт, радуясь, что жив её муженёк, а его уж нету.

— А ты хочешь, чтоб они тут море разлитое устроили, чтоб от слёз белого дня не видели?

И всё же ему было невмоготу глядеть на стопку страшной той почты.

С каждым днём труднее было держать её у себя. И он подумал, что все разом отдать будет ещё хуже. Раз, сунув похоронки за голенища, пошёл по селу. За ним тянулся рвущий сердце бабий крик, а он отрывал его от себя закрывал уши и шёл дальше, покачиваясь и набираясь сил перед каждой хатой.

Первый сердечный приступ с ним случился тогда, когда он отдал похоронку Глафире. «Вот, донёс последнюю...») — тяжело вздохнул он и, прислонившись к дверному косяку, повалился, громыхая чугунами и пустыми вёдрами, стоящими у двери.

Когда он очнулся, увидел перед собой встревоженное лицо Глафиры. «Всё же лучше, чем каменное...». Он попытался встать, но боль его полоснула снова.

— Лежи, не рыпайся, — сказала она, — а то ещё богу душу отдашь. — И набросила на себя телогрейку.

Была Глафира женщиной необыкновенной. Никого выше её не было в селе. Это она дольше других, впряжённая в плуг, вела борозды одну за другой по кругу, пока не упала и не забилась в рыданиях. Сейчас у неё были глаза сухими.

— С ума спятила, — забрыкался председатель. — Отпусти!

Та только стиснула его посильней.

Хорошо, что никто не видел его позора, когда Глафира его, как дитя малое, несла. Отлежался, жена отходила его, а сама, как пришла похоронка на сына, — не пережила, словно он был единственной нитью, что связывала её с жизнью.

На мельницу Степаныч приехал, когда там было уже полно народу из ближних и из дальних сёл. «Ну, теперь куковать мне тут и куковать, — подумал он. — Надо было до зари выехать!» Стал оглядываться кругом, замечая перемены. «Была не мельница, а замухрышка, а теперь вон какую отгрохали. Успевай только зерно засыпать...»

Ряд подвод тянулся впереди, а теперь и сзади уже к нему пристраивались возки. Сидел Степаныч на возку, не хотел и слезать, чтоб поразмяться. Сил становилось всё меньше, а какой казачина был. Не хотелось Степанычу верить, что без него теперь разворачивалась жизнь на глазах, другой у неё разгон был, другие горизонты. Оттого иногда начинал кипятиться по пустякам. И удивлялся, когда его горячность терпел Коваленко, с которым он тоже частенько конфликтовал: «Ну, конечно, воевал он с моим Иваном, жалко ему меня...». И всё же он был благодарен директору, что тот помогал ему хотя бы не быть, а казаться необходимым в хозяйстве человеком. Степаныч сам тянулся к нему, как к сыну... Ведь столько лет они были рядом. Тогда, после войны, колхоз принял Коваленко. От колхоза осталось одно название. Это он, Коваленко, повёл их, дал людям веру. Колхоз стал совхозом, но название осталось старое — «Заря».

Сидит на козлах Степаныч, держа кнут, который ради этого случая достал с чердака. Кнут хитро сплетён, лоснится на солнце. Может, отцовская памятка, может, дедовская — не знает. Помнится, как отец, размахнувшись, умел так им хлопнуть, будто выстрелили из ружья! Тогда он этому долго учился. Сегодня, собираясь на мельницу, Степаныч сдуру попробовал так же хлопнуть, дочь аж присела. Она в это время пристраивала в передке брички приготовленную ему в дорогу сумку с харчами.

Осталась Евдокия одна куковать, всех женихов её поубивала война, а которые вернулись — какой им смысл смотреть на перестарков. Жалеет Степаныч дочь свою: «Ничего-то она и не видела! Прокуковала свою жизнь

одна, тянется к детишкам чужим, а вспомнить и некого. Зачем жила? Для любви родится человек, а уже остальное прикладывается к нему...»

Постарался поставить себя Степаныч на место дочери: нет, врагу бы он не пожелал такой судьбы... У него у самого было что вспомнить, да и поныне его греет уголёк, который ему раздуть ничего не стоит! И сидит он у костерка, греет свои негнущиеся пальцы, на лице его разглаживаются морщинки. И никто не поверил бы, что его глаза, которые и белый свет видят теперь словно через пелену, умеют быть такими зоркими, что разглядят ресничку на полыхающей щеке любимой! И нет у него вины перед женой за ту радость. Должна бы быть, а нет её. Разве он не поступился ради неё, ради Ивана и Евдокии своей судьбой? Какая ж тут вина... Да и не узнала жена ни о чём. Никто не узнал. Это только его тайна — и Варвары...

Живёт Степаныч с Евдокией в большом доме. Когда-то дом строился на две половины. Поднялись и два крылечка. Иван с женой жил на второй половине дома. Только сбежал сын по ступенькам с крылечка в последний раз, когда уходил на фронт. Невестка, как получила похоронку на мужа, ушла к матери и внука забрала, молодую ветвь его: пошёл внук в дедовскую кость, лицом только в мать. И осиротела вторая половина дома. А Степаныч каждый год обихаживает черепичную крышу: какая черепица отстала, какая упала и разбилась, карниз деревянный подправляет. Дом Степаныча в Корольках все знают. Радовался прежде Степаныч, что достанется дом Ивану, потом внук Павел в нем совьёт себе гнездо. Надолго строился дом. Сколько разобрано было старых фундаментов, сколько с округи свозилось белого камня, и потом уже приступили к постройке дома, ютятся в развалюхе и не торопясь построить «абы какой» дом.

Весной после побелки всего дома дочь моет неделю стёкла в окнах, чтоб весело смотрел он на Корольки. Иногда приходит помогать и невестка, да только она - отрезанный ломоть. Не хочет жить здесь, приваживает Павла к своей родне.

Сидит Степаныч на козлах, оглядывает свою жизнь, поворачивает её к себе любой стороной. Даже если он просидит тут неделю — всё равно не хватит времени всё вспомнить, что с ним было.

Нагрузился мукой и отвалил ещё один возок. Степаныч провожает его глазами, радуется: «Пойдут теперь бабы блины печь из муки нового помола, куличи стряпать...». Разгладились опять морщинки от этой мысли. Седые, нависшие на глаза брови придвинулись к глубокой бороздочке на лбу. Сколько раз с душевным трепетом он брал ломоть хлеба, испечённого из муки нового урожая: «Дождались, выходили, скосили вовремя...»

— Эй, чего ты там, заснул, что ли! — крикнул кто-то сзади. — Подъезжай! А то я ведь и объехать могу, коли не спешишь! А мне некогда прохладиться...

Степаныч оглянулся: «Не свой ли, не корольковский?» И стегнул лошадей: — Шустрый какой выискался! Тише едешь — дальше будешь...

Лошади прошли несколько шагов и почти упёрлись в стоящий впереди возок. «Стоило ли ради нескольких шагов и тревожить их!» — мелькнула мысль. Он вспомнил недавний разговор с конюхом. Очень тот обижался, что приходит конец лошадиному «корню», что смотрят на них ноне как на балласт. А ведь прежде немисливо было представить себя крестьянину без лошади. Она сеяла и пахала, она и транспорт гужевой. А в войну разве не воевала она и не гибла, особенно в гражданскую?

— Да-а-а, — соглашался с ним Степаныч, — были они нам большой подмогой! И падали под пулями страшно и покорно.

— И вот чего я понять не могу, - продолжал конюх, - так это скотского отношения к ним отдельных наших граждан. А надясь по распоряжению директора взял у меня пару гнедых Силантий. Так что ж ты думаешь, в каком виде он мне их возвратил?! Срам! Грязные, ноги до крови стёрты! Они у меня кованные на передние и задние ноги, я не даю скребку залёживаться, всё чищу их, заботюсь об ихнем пропитании. Можно сказать даже, что я нахожусь у них в услужении. И вот после этого — такие люди мне будут гробить благородных животных! Я тогда Силантия чуть кнутом не огрел. «Погляди, погляди! — показывал я ему на кровавые рубцы. — Человек ты после этого или скотина!» Потом бегал я и к Коваленко, сказал, чтоб таких людей он близко мне не присылал... Да и помощь бы мне обеспечил и кормами, и силой. Из школы теперь регулярно ко мне приходят ребята, да и то не всех я допускаю к уходу...

Вспомнив о конюхе, Степаныч, поскрипев, слез с брички, подошёл к лошадям, погладил. Те наострили уши. В глазах страх. «Ну, чего напряглись, — проговорил тихо Степаныч, — нет у вас хозяина теперь! Конюх на всех не напасётся ласки и заботы, а вы тоскуете по человеческому голосу, по руке хозяйской...»

В сторонке гуртовались мужики. Кто-то рассказывал что-то смешное, и хохот то и дело откатывался от них, внося какое-то разнообразие в нудное ожидание. Степаныч услышал, что его окликнули. И началось хлопанье по плечу: «А я гляжу... Он — не он...», «И ты тут, Гришка!», «А сколько ж мы с тобой...» — обычные слова, которые говорятся при встрече давно не видевшихся людей, которым есть что вспомнить.

Нет, они никогда не были друзьями, хоть жили на одной улице в селе и ухаживали за красавицей Варварой. Вернее, ухаживал Гришка, он был постарше и посмелее. Иван тогда смотрел на Гришку сверху вниз, тот был пониже ростом, а этот — тополёк-трёхлегок. Тоненький, прозрачный. Глаза Ивана провожали Варвару в Школу и на вечеринку. Если он и решался к Варваре подойти, то из этого ничего не выходило: становился дурак дураком, терял дар речи, покрывался малиновыми пятнами. Иногда Иван думал, что и Варвара теряет перед ним, оттого у них никакого разговора не выходило, но он этому не верил. А вскоре по Королькам разнеслась весть что Варвара выходит замуж за Гришку Белого. Торопился тот со свадьбой потому, что семья его уезжала на хутор Польский, где жила родня Гришкиной матери.

Иван слонялся вечерами по Королькам, дразнил дворовых собак — гульбища его не интересовали. Хутор Польский он окрестил медвежьим углом, Тьмутараканью, но был он для него единственной звездой, которая сияла на небосклоне. Оттуда Варвара ему загадочно улыбалась, звала его за собой и скрывалась...

Хромота Ивана обозначилась ещё сильнее, и он стал вообще избегать молодых девок, присосеживался к мужикам. От них набирался житейской мудрости. Хорошо понял, что человек рождается для того, чтоб сеять хлеб и растить детей. Женился на Анютке, на которую ему указал отец: «Из неё жена и мать получится...»

Жена звала его Иванушкой, ему это так и не понравилось. Ждала его за околицей: «Дела тебе нет дома?» Не было у него с нею праздников. Мать — отец оказался прав — из Анютки получилась замечательная. Дети без неё не могли жить. Они были для неё воздухом. Не стало сына Ивана — мать блукала по большому дому тенью и таяла на глазах.

Никогда она не упрекала мужа за его холодность, в дому себя не чувствовала полновластной хозяйкой, будто знала, что не её это место.

Мужа любила скрытно, таила свои чувства, зная, что тот не может ей ответить тем же. Первенца назвали Иваном в честь отца, и раз не нравилось мужу, что она звала его Иванушкой, теперь звала так сына...

Степаныч встретил Варвару в городе на базаре в то время, когда у него уже было двое. Евдокия только недавно родилась. Забыл про хромоту, забыл про жену и детей. Ходил за Варварой как привязанный, пока не решился подойти.

— Ты ещё краше стала, Варвара! И кто только придумал такую окаянную красоту! — смело говорил он, глядя прямо в глаза... Ситро пили, ехали куда-то, степь была пьяная.

— Я тебя во сне вижу поныне, Варвара! Проснусь — в сердце холодок. Никто не занял твоего места.

—А за Гришку меня выдали силком! Мамаша болела. Наступала на пятки сестра младшая... Что ж не подходил тогда?

— Как не подходил? Подходил, да только язык отнимался...

—Написал бы письмо! Я ж тоже в твою сторону глядела! — покусывает она травинку, улыбается и смотрит затуманенными глазами.

— Молодой был, робкий... Дурной был, Варвара! — бросается он к ней, кинув вожжи. Пахнет молочное сено. Исчезает всё...

Сейчас Степаныч смотрит на Григория пристально: «Догадывался или нет?!» Но у того в глазах только радость, что свиделись, а на языке — Корольки:

— Хутор Польский меня обкорнал, как деревце. Не мог я свои тропиночки позабыть, которые протоптал в Корольках. Всё помню, что было в Корольках, а на новом месте будто и не жил. Нельзя, оказывается, человека, как куст, пересаживать с одного места на другое.

«Ничего он не знает!» — стучит одна мысль в голове Степаныча. И опять замелькала молодость перед глазами. Скачет на коне он через ночь, глядя на свою единственную звезду на небосклоне. «Не приехала к кургану снова! Где она? Что с нею? Не узнал ли чего Григорий?!» А как в хуторе Польском он, точно вор, крался вдоль забора, как подстерегал её у реки! А увидела она его — повалилась в ноги: «Ванечка-а-а, забудь меня... Грех какой! Не пройдёт мне это даром! Дочка у меня и...» Она ещё хочет что-то сказать, но только кусает губы, заливая ему рубаху слезами...

— Да ты глухой ли, Иван Степанович?! — хлопает его по плечу Григорий. — Как сам? Как Евдокия? Я когда корольковских вижу, всегда справляюсь о тебе...

— Живу-у, — растерянно говорит Степаныч. — С Евдокией... Она заботливая.

— Не вышла замуж?

Степаныч только машет рукой.

— Э-э, какими были мы, какими стали, — вздыхает Григорий. — Но ничего, пожили, повоевали...

Ты воевал, а мне не пришлось! — У Степаныча глаза всё ещё отсутствующие, и сам он растерянный. Кинула его эта встреча в другой конец жизни, где было все по-другому.

— Куда тебе с твоей ногой на войну?! Нам драпать много пришлось, ты б не сумел! — попытался пошутить Григорий. — Да и Иван твой... — Он закашлялся, кинул сигарку....

— Иван остался на войне! Корень мой вырубил проклятый фашист, — задрожал голос у Степаныча.

У Григория широко открываются глаза, он сцепил ладони, аж пальцы побелели: «Неужто не знает? Значит, исполнила... значит, отрубила... Не сказала!»

— Но орден получил, — глухо продолжает Степаныч, — слышал, может?

— Слышал, слышал... Да-а, война, война, — зашепел Григорий Саавельевич. — Помню, последнюю самокрутку по кругу пустили перед боем, значит. Молча дотянули. И пошли. Придержал нас командир немного, пока артиллеристы утюжили врага, а потом разом сыпанули. Бесперывно атакуем и откатываемся, атакуем и откатываемся. Вцепился фашист за крайние хаты и — ни шагу назад. Ну, у нас, конечно, всем не по себе... что мы, сивые, что ли! Кто и раненый, если легко, лезет — никакая сила не остановит — или пан, или пропал, а враг — ни в какую... Ну, темнеть начало, люди измотанные, голодные. И кухня тут приехала. На позицию прямо. Отыскал старшина нас. Школа в нескольких десятках метров. Командир нам: «В школу все. Ужин и спать! Завтра рано в бой, а сегодня враг не сунется, так мы его покачали...». Встаёт тут один белобрысый: «Да что мы, едрёна вошь, спать тут будем, что ли, под боком у проклятого фашиста! Подождёт кухня...» Остервенели мы все. Сила откуда-то взялась... Только пуля вот никак не разбирала, кого ей срезать. Упал наш белобрысый герой. Как сейчас вижу это... Эх, молодёжь ложилась зелёная. Я виноватил пулю: «Не туда летишь, дура!» Хоть, конечно, жить каждому хотелось...

Замолчал и Григорий Савельевич. Как скажешь, что там, на войне, он думал о Варваре и о нём, Степаныче. Ревность сжигала его. Тогда и сожгла, видать! Ни обиды, ни сожаления. Иван Степанович ему не чужой... И Варвара, значит, не сказала ему! Неужели не виделись ни разу...

— Старые мы с тобой стали! — заблестели глаза у Ивана Степановича. — Как там... — Никак не может он выговорить имя: Варвара! — Как дочь, жена?

«Не знает, что сына ещё родила Варвара!» — убедился Григорий Савельевич. И спокойным, отвердевшим голосом сказал:

— Все живы, слава богу, здоровы! И Варвара, и дочь и сын Иван. — Сам того не ожидая от себя, жёстко продолжил: — В тридцать пятом году родился, в сентябре.

— Что-что, сын? Ива-ан, у тебя-а...

Вот тут и ворохнулось у него сердце как-то по-другому, в обратную сторону, что ли... Только боль была похожа на ту, которая обожгла его, когда носил он по домам вдов запоздалые похоронки.



– Значит, в сентябре? — совсем неслышно переспросил. И стал падать. Григорий Савельевич подхватил его.

– Мужики-и-и! — полетел его голос.

Через минуту четыре мешка из подводы Григория Савельевича были переброшены на возок Степаныча. Не хотел, не зная лошадей, везти больного в Корольки бывший односельчанин. Он укладывал его на сено, подмащивал под голову какую-то одежонку:

– погоди, Степаныч... потерпи... вот так, на сенцо приляг... Вот мы и смололи с тобой, но ты не переживай, я всё сделаю путём. Отвезу тебя в Корольки, а оттуда в город тебя мигом доставят.

А Степаныч, если бы и мог открыть глаза, не открыл бы... «Значит, вот почему она тогда — как отрезала... Какой же я дурно-о-ой, как опростоволосился... Умру, должно, не увидев сына...»

## 2

Директор совхоза Фрол Фёдорович Коваленко, придя с войны домой со шрамом, перетягивающим шею и правую щеку, навалился на Корольки всей силой, и терпением, и знанием, которое получил в том числе и от отца, стоявшего у истоков колхозного дела.

Колхоз и для Фрола был той единственной песней, которую он знал, которую нужно было ему спеть на празднике жизни, как спел свою песню отец.

Фёдор Коваленко верил в новую жизнь, как верил весенний день в солнце, как верила ночь в приходящий день. Ради неё, ради этой веры, однажды утром огласил корольки бабий вой и детский плач: на трёх санях увозились кулаки и подкулачники, проклинаящие «душегубов» и батрацкую голь.

Кто-то и сиганул с тех саней на дальнем неизведанном пути, пряча под полой обрез, а может, кто другой отомстил за порушенные устои жизни. Немало было тогда легко и бездумно напевающих: «Нас бросала молодость на кронштадтский лёд...». Сабельный поход был самой верной приметой нового времени. Мало кто оглядывался назад в этом сабельном походе, боясь найти на поле битвы мальчишеский вихор младшего брата. Да и когда там оглядываться? Рассекая даль красными лампасами, устремлялось время только вперёд, к новой, справедливой и счастливой жизни. Становились героями те, кто умирал за эту жизнь. Фрол Коваленко с малых лет гордился своим отцом-героем, убитым в собственном доме.

Фрола воспитывала мать, проклиная всех и вся! Ей было всё равно, какое знамя полыхало над правлением, но ей надо было знать, что новая жизнь не отнимет у детей отцов, у жён мужей. Ничего не стоила власть, при которой людей убивали, как куропаток. Звали её Анастасия. Когда её спрашивали: «Гордишься ли ты мужем-героем?» — отвечала: «Я всю жизнь его оплакиваю...» Сыну она с детства вбивала мысль, которая не всем бы понравилась: «Земля могил не различает...»

Пришла другая война в Корольки, загребла мужиков своей костлявой рукой. Анастасия просила военкома, чтоб он её тоже отправил на фронт: «Пешком пойду, если не отправишь...» Военком был уставной человек. И пришлось Анастасии идти пешком. Никто её больше не видел. Она ушла в длинной чёрной юбке, в чёрном платке, с вещмешком за плечами. Ушла туда, где был её сын...

Ничего удивительного в поступке Анастасии не было: немало молодых девушек уходило на фронт, но она была немолодая. Анята, жена Ивана Степановича, бежала за нею до того места, откуда как на ладони видны их Корольки.

— Может, и моего Ивана там найдёшь, скажи ему, как я его жду...

Говорили, видели женщину там, где от взрывов разламывались и земля, и небо. Она закрывала глаза убитым. А кого не успевали хоронить, она хоронила их сама. И своих хоронила, и врагов... Может, это была Анастасия.

Фрол Фёдорович помнил отца и мать и потому не был никогда счастлив. Он силы все отдавал — совхозу, а любовь — хрупкому, болезненному созданию, дочери, да кроткой жене, работающей в детском садике.

В разговорах с людьми, стараясь глядеть на собеседника, Коваленко вытягивал, рвал сросшиеся жилы, отчего багровело лицо, на котором выступала испарина. «Чёртов осколок, чиркнул по самому неподходящему месту!» — думал он, стесняясь того, что все его мучения на виду.

Может, по этой причине с Коваленко никто не спорил, чтоб он не раздражался. Разве вот только Степаныч резал правду-матку. Не поддержал он и решение правления перенести одну из ферм поближе к Королькам, где травы по выгону богатые, да и дояркам ближе ходить:

— Сегодня ты, Фрол Фёдорович, выгон у людей оттяпашь, а завтра тебе покажется, что огороды у людей большие...

Коваленко отмалчивался, стараясь со стариком не спорить. И тут он только подумал: «При чём тут огороды, если пропадает столько травы...»

Сегодня он как раз и собирался проскочить на ту ферму, что поставили под Корольками: поступила жалоба, что заведующая фермой с доярками груба, больше криком берёт.

Село Корольки когда-то было казачьей станицей. Оно прислонилось с одной стороны к цепи невысоких гор, по другому краю бежала речка. Стоящей она была только весной, в остальное время года речку переходили пешком утки и гуси.

Вот и выгон показался. Коваленко залюбовался новыми постройками, что расположились под горой. «Затишок... Зря меня распекал Степаныч, что я угробил фасад Корольков...». Но чем ближе подъезжал директор, тем отчётливее обозначались вытопанные коровами проплешины с пожелтевшей вокруг травой. Угнезвился под сердцем холодок. Мысль: «Весна придёт, и снова всё зазеленеет...» — не успокаивала. Он знал: наметилась мёртвая зона корольковского фасада. Отсюда по крутояру и сток в речку. Она ж — рукой подать.

Крутнул руль и съехал с дороги, решив пройтись. Царапнули бока старой бежевой «Волги» когтистые лапы полынка, стебли отцветшего донника и душицы. Закачалась задетая колесом татарка, в лиловом бархатном цветке которой возился жучок. «Исчезнут эти травы через года два-три! Степаныч был прав...»

Еле приметный ветерок лениво трогал верхушки трав и кустов, а потом ни с того ни с сего сорвался, разъярился и пошёл устраивать трёпку всему, что попадалось на его пути. «Тю, скаженный!» — ругнулся директор и кинулся за шляпой, которую порыв ветра кинул в небо, поиграл ею и с размаху бросил на дорогу. Что ему шляпа. Вон он по всему выгону забегал, спустился к реке, зашумел ветками белолисток, а потом заскочил на кукурузное поле, затормошил султаны кукурузы...

Подняв шляпу, отправился Коваленко на кукурузное поле. «Хороша! И початок налился, не замутнел...» Он остановился, глянул вверх: «Ну и вымахала!» Тут Коваленко заулыбался, вспомнив, как однажды они смотрели кукурузное поле со Степанычем, тот радовался, что кукуруза вымахала до небес, а потом сказал, что она точно Глафира. Так и повелось с той поры — высокая кукуруза называлась ими Глафирой. «Надо привезти сюда старика, — подумал он о Степаныче, — стал сдавать мой помощник».

Сейчас он ещё вспомнил, как Степаныч забрал паспорта у двоих механизаторов, грозя выписать, чтоб в Корольках и духу их не было. Принёс документы Коваленко.

— Вот, требовал! Совхозными косилками косят траву частникам на лучших совхозных угодьях. Выписать их надо к чёртовой матери и штрафануть.

— Превысил полномочия, Степаныч! Могли бы они тебе и не давать паспорта! Мы ж с тобой не милиция...

– А мы тут с тобой всё: и милиция, и сёстры милосердия. Мягкотелому на твоей должности делать неча...

Сам Коваленко вернул паспорта механизаторам и оштрафовал нарушителей. Старика за то, что тот перебарщивал в их спорах, он прощал ещё и потому, что чувствовал некоторую вину перед ним. Эта вина уходила корнями в войну. Повернись дело иначе, он, Коваленко, мог остаться там навсегда, а Иван вернулся бы, хотя прямой вины Фрола Фёдоровича не было в том, что случилось.

Помнит Коваленко, как ехали они с Иваном в теплушке, не обученные страшной солдатской работе, пострелять ещё не успели как следует. И глядят им молча женщины вслед, держа на руках замотанных в тряпье детей. Иные бегут следом: «Как там на фронте дела, братки?». Но что они сейчас могут ответить? Они сами ещё ничего не знают и потому молчат, молчат, им нечего ответить...

И ещё одна картина, врезавшаяся в память до мелочей. Вот они выстукивают зубами морзянку, греясь у жиденького костерка. Одному надо возвращаться в дивизию с добытыми сведениями, а другому — завернуть в Осёлки к Мефодьевичу, связанному с партизанским отрядом, действующим в той зоне. В Осёлках были немцы, но если Мефодьевич жив — поможет скоординировать действия партизанского отряда.

– Ты, пойми, — говорит Иван Фролу Коваленко, идти должен ты в дивизию, а я — в Осёлки...

– Мефодьевича загребли в первую очередь, зря погибнешь только! — возражает Фрол, но тут же он понимает, что это не довод. У Мефодьевича могут оказаться не только сведения о партизанском отряде, но и о дислокации врага в этом районе. — Идти, конечно, надо. Только пойду я.

– Нет, я пойду, — отрезал Иван. — Мне там уже приходилось бывать! — И добавил помягче: — Брось, земляк, не страдай!

«Почему он тогда так сказал?» — думает сейчас Коваленко. Может, мелькнула тогда, после решения, принятого Иваном, в его глазах предательская радость?

Он вернулся к машине, и машина, газуя, понеслась к ферме. «Ничего хорошего не выходит из того, что бесполезно себя изводишь несуществующей виной! Он, а не я, должен был идти в Осёлки, по всем законам здравого смысла...»

...Заведующая фермой Мария Дмитриевна, когда дело касалось разгильдяйства, становилась на дыбки — так про неё говорили подчинённые. На днях Нинка Цыганкова, одна из доярок, попалась с ведром сливок, которые несла домой, прячась от людского глаза. Фляги, уж конечно, она

потом долила водой. Мария Дмитриевна, уразумев вину доярки и зная, что такие случаи не редкость, в назидание другим скостила ползарплаты у виновной. Да ещё и назвала прилюдно расхитительницей, а её мужа — солитёром, которого она отпаивала государственными сливками после запоев. У Нинки Цыганковой был очень небольшой словарный запас, но зато те словечки, которыми она огрела Марью Дмитриевну, не переводились ни на один язык. Заведующая тут же отстранила «хулиганку» от работы.

Нашёл Коваленко Марью Дмитриевну в конторке, где висел график надоев, пожелтевшие плакаты, обязательства. Бедные коровы жевали свою жвачку на базу и знать не знали, что новые тысячи литров молока им придётся отдавать передовым и непередовым дояркам. А значит, и жвачку им надлежит жевать гораздо быстрее.

Обвинения в грубости заведующая не приняла, а сказала, что только назвала воровку хулиганкой за маты. Далее она заняла наступательную позицию и заявила, что если не держать строгость, то несунуны вытащат всё «из пододонного», они ни перед чем не останавливаются, даже новорождённых телят таскают.

Директор знал, что Мария Дмитриевна права, что скотники действительно — были случаи — попадались с телятами, не говоря уже, что мешками тащат дерть.

— И всё же превышаешь, — заикнулся было директор, — свою власть...

— С превеликим удовольствием я пойду в простые доярки, — перебила его заведующая фермой. — У меня муж и дети, им мать нужна, а я прихожу домой никакая, на меня хоть намордник надевай...

По существу ты права, а по форме...

— Не буду я потатчицей ворью! — перебила она директора снова, и у неё полились слёзы — самый последний и убедительный аргумент её правоты. Ей было обидно, что, пропадая от зари до зари на ферме, зная все тонкости своего нелёгкого дела, во всё вникая, она не могла побороть у людей эту неистребимую жажду поживиться за государственный счёт. — Как собака злая я стала, Фрол Фёдорович, с этой работой! Давай изготвь приказ, который бы укоротил загребущие руки...

...С плотинки машина резво побежала мимо приземистых хат и недавно поставленных домов, которые были верной приметой нового времени, когда люди трудолюбивые могли жить в достатке и в благополучии. Хозяин держал в порядке и землю, и подворье у него радовало глаз. Бездельники и пьяницы жили бедно и безалаберно. Таким не хватало времени вовремя перекрыть крышу, поставить новый забор, вокруг их жилья росла амброзия,

лопухи, крапива. «С амброзией уж точно штрафами надо бороться, может, следить начнут, и с воровством кончать пора!» — подумал директор. Был он недоволен собой, казалось ему, что не нашёл он нужных слов в разговоре с заведующей фермой, которая пеклась не только о надоях. «Но что она может сделать?! Что могу предпринять я сам, если ни воспитания должного, ни образования не могут получить пока ещё деревенские люди!» — хмурился Фрол Федорович, пытаясь поглядеть на проблемы с другой стороны.

Блеснули и остались в сторонке два прудка, повыше и пониже. Многие корольковцы в своё время учились там плавать, ловили рыбёшку. Теперь прудки заилились, коровы, чтоб напиться, по брюхо залезали в ил. «Последнюю радость у людей отнял! — ругал себя директор. — Немедленно надо переводить ферму на другое место!» Нет, не дорос он ещё до настоящего руководителя. Теперь можно представить, как честят директора и в хвост и в гриву жители окраины, которым тот скотный двор под нос поставил.

Машина с грунтовки выскочила на шоссе. По нему, если ехать на Ростов, можно добраться до самой Москвы, а в обратную сторону подашься — угодишь в сухие калмыцкие степи, по которым пасутся бесчисленные отары овец, легли глубокие безводные балки. Беспощадное солнце к августу не оставляет в калмыцкой степи почти ничего живого. И тогда по этому шоссе в сторону Элисты идут машины с тюками соломы, сена, с сочной кормовой свёклой.

Сейчас, глядя на шоссе, Коваленко видел проплешины корольковского выгона, думал о том, что он сваял дурака с третьей фермой. «Придётся отвечать, — вздохнул он, — перед людьми. И ошибку исправлять надо немедленно...»

В конторе Коваленко, привычно знакомясь со сводками, набирая номера телефонов, ловил себя на мысли, что ему бы сейчас неплохо поговорить со Степанычем, помозговать, куда перенести ферму. Выпаса найти не так трудно, но не зимовать же скотине под открытым небом.

Услышав шум во дворе, директор выглянул в окно и увидел на лошади бывшего своего соседа, которого знал ещё подростком. Григорий Савельевич что-то торопливо объяснял и показывал в сторону дороги. Когда до него донеслось слово «Степаныч», Коваленко понял, что случилось что-то неладное. Не теряя времени, директор побежал к машине, стоящей в противоположном конце двора. До него доносились слова: «Я думал, он оклемается, а дотом гляжу, и глаза закрыл... Ну, тогда я и выпряг лошадь, чтоб швыдче доехать...»

Увидев директора, бегущего к машине, Григорий Савельевич кинулся за ним следом:

– Скажи Степанычу, чтоб за муку не переживал, смело и ему, и себе... Сердце у него, видать...

### 3

Степаныча положили в краевую больницу. Дочка, чтоб не тратить время на автобусы, стала и дневать, и ночевать в палате. Проведывали старика невестка с внуком, приносили медку, яблочек. Свёртки и баночки Евдокия пыталась сразу вернуть:

– Куда? Тумбочка не резиновая... везите назад...

Степаныч радовался, что внук Павел находил время проведывать его, но и в разговоре с ним он временами уходил в себя, в глазах его повисал туман. И тогда Евдокия махала руками, чтоб тот уходил.

«Что ты, Варвара, со мной делаешь? — слышал себя Степаныч молодого, полного сил. — Меня же из дома надо гнать! Я как чумной... Ну чем же мы виноватые, как подумаю о тебе: небо вижу, землю под ногами чувю... Чем же мы виноватые?». А Варвара проводит по его лицу ладошкой: «Виноватые, Иванушка, виноватые! Дочка у меня, а я из дому завеилась... грех какой! Забудь меня! Приснилось всё нам... Куда там... против бога и против судьбы разве пойдёшь? И в Корольки больше не приеду, и сам не ищи меня... Пожалей...»

Тогда в нём оборвалось то, что соединяло его с ним самим! Не с тем, которого знали все, а с другим, который мог видеть жизнь другими глазами, был сродни ветру, который может петь и плакать, как человек. Но когда того, кто жил в нём, не стало, умер ветер. А вернее, тот, кто остался в нём, больше не слышал, как поёт и плачет ветер. И не только ветра он больше не слышал! И поле, и река, и птицы — всё перестало с ним говорить. Как будто можно было родиться в этом мире ещё для чего-то, кроме любви...

По впалым и морщинистым щекам Степаныча текли слёзы, а глаза были закрыты. Евдокия вытирала осторожно слёзы платком и думала, что отец плачет во сне. Ей хотелось знать, о чём он плачет. Какая беда и тоска его не стала вчерашней, а приволоклась за ним в его сегодняшние дни? Евдокия не знала, что есть нечто, что не становится вчерашним никогда. И это нечто любовью называется. Она — свет, и дальний, и ближний. Без неё утро не утро, ночь не ночь...

Теперь Степаныч понял отчётливо, что жизнь его шла рядом. Будто кто-то другой, а не он жил, не он! «Мне была нужна только работа, которая занимала бы все силы у меня! — подумал Степаныч. — Чтоб, кроме злой

усталости, я ничего не чувствовал. Глушил себя, как червяка, прежде чем нацепить его на крючок!» Ему виделась его жена Анютка, терпеливая и бессловесная. Её глаза как будто бы говорили: «Что я могу сделать, чтоб ты был счастливым?..»

Говорят, что надо не болезнь лечить, а её причину устранять. Скажут же такое! Как можно запретить ветру дуть и дождю литься! Снова жадно и долго смотрит Иван на Варвару, не понимая её жестокости в тот последний их вечер. «Разлюбила!» — пришло к нему объяснение тогда. А потом война пришла. Людское горе заслонило его тоску. Да и работа ломовая не давала проснуться в нём застарелой боли. И не пришло ещё тогда время очнуться от долгого сна тому, кто должен был жить в этом мире с песней!

Степаныч резко открыл глаза и посмотрел в глаза дочери: «А для кого она живёт? Для кого сажает огород, таскает воду, печёт хлеб, ходит на ферму с остальными доярками? Она не знает той, которая рождена для счастья!»

— Что ты, отец, что так смотришь на меня? — наклоняется к нему Евдокия. Может, хуже тебе стало?

Отворачивается к стене Степаныч:

— Ничего, дочка! Ничего!

А сам от мыслей о дочери перекидывается к другим женщинам, к вдовам. «Вот Глафира тоже прожила без счастья! Проводила мужа и не дождалась. Не радовалась, значит, колоску, снегу белому, лазорикам, что расцветали по всей долине, когда приходила их пора...» Ну почему Варвара так решила их судьбу! «Если бы только знал правду! — перекинулся он опять к своей жизни. — Думал — разлюбила, а она сына моего растила! Иваном в мою честь назвала. Выходит, у меня было два Ивана. Теперь один остался! Не погубил фашист корень мой! Увидеть бы его. Варвару бы увидеть! Я бы подошел к ней и сказал: «Дурной был я, Варвара! Не догадался...»

Заосеняло на дворе, а солнце заливается в палату из огромного небесного ковша. Евдокия поправляет постель больному, вытирает его лицо полотенцем, смоченным в горячей воде.

— Папа, что ты видел во сне сегодня? — спрашивает она. — У тебя слеза катилась по щекам.

— Не во сне, дочка! Жизнь я видел... Обманула она меня...

— Ты так никогда не поправишься, если будешь сердце надирать печалью.

— Ехала бы ты, дочка, домой! Мне уже лучше. Куры у нас там брошенные, за домом пригляд нужен. Павлушка пусть учится, а то на работе пропадает, а потом ещё и за хозяйством нашим присматривает. Да мать его, видать, ждёт не дожждётся, когда ты домой явишься, чтоб сыну продых был...



Евдокия уехала, когда отец стал выходить самостоятельно на прогулку. С клёнов и берёз начал слетать лист. На больничных клумбах щедро цвели дубки и хризантемы. Стайки разноцветных астр подбегали к самому порогу. «Красивые, — ласково глядел на них старик, — цветут себе и не знают, что недолго им осталось красоваться».

Приехал директор. Они ходили по засыпанной листьями дорожке, говорили о близких и понятных вещах: всё же столько рядом они жили одной судьбой, судьбой родного дела.

– Обманул косую? — приобнял старика Коваленко.

– Обвёл вокруг пальца! Уже во второй раз... — в тон ему ответил Степаныч. — Тогда Глафира меня спасла... я ей последней принёс похоронку.

Коваленко знал про этот случай. Сейчас нарочно не стал продолжать разговор на эту тему, чтоб не волновать больного. И он рассказал о поле, где в этом году выросла высокая кукуруза.

– Хотел я тебя туда свозить, да ты слёг! А потом скосили. Время не ждёт.

– Глафира, значит, выросла... Это хорошо. Урожай хороший не только прибыль, не только выгода материальная, но и радость людям.

Прощаясь, директор сказал Степанычу, что хватит, мол, уже отлынивать от хозяйства, пора помогать ему, Коваленко.

– Да брось ты, Фёдорович! — махнул рукой тот. — Не смейся надо мной. Я ещё удивляюсь, почему меня ты держал около себя! Какая от меня польза уже теперь...

– Да ты что, Степаныч...

Но его уже более решительно перебил старик:

– Не буровь... отпомогался я тебе! Да и раньше ты меня держал больше для блезиру...

– Напекаешь на то, что не всегда слушал я тебя? Был грех! С фермой вот я сплоховал. Сейчас срочным порядком на месте старой ведётся строительство нового комплекса... Обидел я людей, что под нос им подсунул и запахи, и стоки, и выгон чуть не погубил.

– Ну вот и хорошо! — заблестели глаза у Степаныча. — Людям светлей жить будет на земле, если свет ничто и никто не будет застить...

«Вот уже и отошёл я от дел. Другие пришли. Многие ли будут вот так же шуметь и беспокоиться, или им безразлично будет, как повернутся дела, пускай всё летит в тартарары. Хозяйствовать нужно не только с умом, но и с совестью и передавать её тоже надо по наследству, хранить, как родники, которые, если махнуть на них рукой, захиреют, заглохнут совсем», — так думал Степаныч, глядя вслед Коваленко, которого не без основания считал

наследником своим: многое из того, что волновало его в жизни, старик передал ему.

...Мыслей о Варваре он боялся, старался не допускать их, потому что они всё ставили в его жизни с ног на голову. Но, глядя на широкие больничные ворота, он — ну разве не может быть чуда?! — представлял, как в них однажды войдёт Варвара с сыном. Узнает, что он болен, и пожалеет его, и порадует... Но она не шла. День проходил за днём. «Я ведь так могу и не увидеть его!» — обожгла снова мысль, и он запротестовал против судьбы, собрал против неё свои остатные силы. «Я ведь и сам могу... поеду, якобы отблагодарить Григория Савельевича, что спас меня... кабы не он, так...»

Выписали Степаныча неожиданно для него самого. И он подумал, что в этом божье провидение. Оно поможет ему осуществить задуманное. Хутор Польский придвинулся к нему, стал негасимой звездой. Зря люди думают, что звёзды живут только на небе.

Приехал за Степанычем в больницу Антон, шофёр Коваленко, который был долгое время на излечении после аварии. Всё это время директор сам обходился. Приехала за отцом и Евдокия. «Как он постарел и обрезаюсь», — точила её мысль всю дорогу. А Степаныч расспрашивал Антона о его здоровье и радовался, что тот всё же вернулся в строй. О пьяном водителе грузовика, погибшем в этой аварии, не было речи, мёртвых не судят.

— И вас я рад видеть в добром здравии, — говорил Антон, — теперь вам никаких волнений, никаких больших нагрузок!

Евдокия эти слова Антона не раз дома напоминала отцу, когда он ни с того ни с сего взялся за дом:

— Что тебе было сказано, а? Ты должен себя беречь, а сам ходишь стучишь молоточком, делаешь совсем не нужную работу. Стоял наш дом и будет стоять, а ты каждый год с ним возишься... Ну, другое дело, когда был здоров, а теперь...

— Дык расхлябался весь! Там дощечка отлетела, там ещё чего, будто мужика в доме нет...

— Мужики-ик! Молчал бы уж! Ветер качает. Сил набирайся... Вот Павлушка заявится, я ему скажу, что надо сделать.

— Не тронь Павлушку, он и так много времени потерял, а у него учёба и работа! Заочно учиться непросто.

— Нужна ему эта учёба! Сколько веков земля без грамотеев обходилась!

— А теперь нельзя без грамотеев! Жизнь вон какая разворачивается! — начинал сердиться Степаныч, и Евдокия пасовала. «Ну, коли не может он без этого дела, надо помогать!» — подумала она. И когда он, залезая на

стремянку, чтоб прибить дощечку к карнизу, уронил ящичек с гвоздями, она подбежала к нему и сказала:

– А знаешь, батя, давай наш дом по-настоящему образим! Крылечки оба, рамы выкрасим в голубой цвет!

– Валяй! — заулыбался отец. — В проулке нашем развиднеется.

Не знала Евдокия что попала в самую точку. Замыслив поехать к Варваре, Степаныч решил привести в порядок дом, потому что надеялся на то, что Иван согласится навестить его в Корольках. «Не может она, — думал он о Варваре, — не разрешить ему этого. Евдокия ему родная сестра, и у неё нет никого на этой земле, а сам я уже одной ногой в могиле». Не было у него уверенности, что раскрутится этот клубок, что получится так как он замыслил, но на ремонт дома навалился со всей своей последней силой и верой...

Антонина, мать Павла, помогала шпаклевать и красить дом, только говорила, что второе крылечко надо бы убрать, ведь внутри две половины дома сообщались между собой. Степаныч был поражён, что невестка не хотела сохранить память о погибшем.

– Не тобой эти оба крылечка рублены! — суховато сказал он. — Сын погиб, а память об нём вот тут! — постучал он кулаком по груди, и у него набрякли и отяжелели ноги. — Павел, может, жить будет тут!

– И-и, Павла вы теперь видели! Он как закончит институт, так и попрощается с Корольками... Да и я тут живу, пока с матерью колгота, а то давно бы переехала в город.

Евдокия отколупывала ножом старую штукатурку. Молча слушала Антонину.

Степаныч утвердился в своём мнении, что такая мать, как Антонина, не может в Павле воспитать доброго отношения к земле, к Королькам — ко всему, чем жили их предки. «Порушила родову...» — неприязненно подумал он и ушёл подальше от женщин.

Сама Евдокия тоже не очень рада была остаться наедине с Антониной, догадавшись, отчего ушёл отец.

– Шла бы ты к матери, — сказала она, — а то не дай бог чего...

– Да ничего! Только надоело мне, что она всё время ворчит: «Замучила я тебя, Антонина, прибрал бы меня господь!»

Антонина ушла, но прислала Павла, который оказался дома. Он не был в восторге от затеи деда, но вскоре, оседлав крылечко, пересаживал петушка на козырьке на новую палку.

– Дедушка, подай поменьше гвоздик, а то ещё палка расколется! — кричал он. А дед говорил ему, чтоб тот был поосторожней.

Дело уже подходило к концу, когда на дворе Степаныча появился Коваленко.

Вот так больной! Чего же ты не бережёшь себя?

- Сам затеялся с ремонтом, — стала оправдываться Евдокия. — Ты погляди на него, аж помолодел, как стал возиться с домом.

Степаныч и вправду помолодел, повеселел. Отступился землистый цвет лица на свежем воздухе. Качнул его дом в сторону жизни, напомнил молодые годы... Сейчас он трёт лицо щёткой, скребёт ножичком краску из-под ногтей: «Гляди-кось, въелась, проклятая! Но зато не сурик, которым прежде малевали ворота, притворы на окнах. Нет, эта постоит!» — окидывал он придирчивым оком голубые крылечки, окна. Директора плечом толкнул:

– Видишь, чем я теперь занимаюсь, как стал пенсионером?

– Как не видеть! Краше ещё стал твой дом. Вот кабы все старались свою жизнь украсить, радели о своём подворье, о детях бы своих пеклись, а не доверяли школе одной воспитывать и учить уму-разуму — тогда бы другая жизнь по всей стране была. Горели бы все Корольки такими крылечками, красовались бы такими домами. И не только Корольки... У людей должен быть интерес...

– Конечно! — кивнул головой Степаныч, наклонился за ветошкой протереть руки. — Наследники нужны! Дом на одну жизнь и затеваться не стоит строить, а вот если думать о сыновьях, внуках...

– Да, заглядывал анадьсь ко мне Григорий Савельевич! Интересовался, нельзя ли кирпич выписать, стройматериалы. Не могу, говорит, без Корольков! Жена умерла, дочка замуж вышла. Он с сыном к нам хочет переехать. А сын его механизатор, больше всех скашивал хлеба в косовицу, а теперь после института вернулся, инженером работает. Нам такие люди позарез нужны, сам знаешь, — глянул на Степаныча директор и увидел, как тот, сам не свой, валится прямо на него. Но, ухватившись за плечо Фрола Фёдоровича, другой рукой стал шарить по лавке, стоящей у каменной ограды.

– Это что ж, тебя опять в больницу везти? — сказал директор, когда они оба сели на эту лавку.

– Не-е-е, сейчас пройдёт, — часто дышал Степаныч. — Значит, всё! Теперь и винить её грех. Сама решила так... А я слишком долго собирался.

Степаныч замолчал. Казалось, он забыл о присутствии гостя.

– Значит, не дал бог свидеться! Как это... жестоко выговорил он необычное для себя слово, опять уходя свою отстранённость.

Коваленко решил, что ему сейчас лучше уйти.

– Пойду я, Степаныч, если тебе ничего, а то, может за врачом послать?

– Не надо! — повернулся к нему старик. — Мне теперь никак нельзя болеть, а помирать тем более.

Директор неуверенно сделал шаг-другой, но Степаныч его остановил:

– Постой, Фёдорович! А что, можно проехать до хутора Польского на твоей машине?

– А почему нельзя? Там шоссе почти до самого хутора, но и тот отрезок, что не асфальтирован, улучшенный. В любое время можно доехать.

– Скажи Антону, пусть завтра... я тебя христом-богом прошу, — заволновался Степаныч. — Я туда и обратно... Мне очень надо...

– Ну о чём речь, завтра машина будет у твоего порога... Только во сколько?

– Часам к восьми.

Директор шёл со двора Степаныча и думал: «Всю жизнь прожил рядом, считал, что всё знаю про его жизнь, а оказывается — не всё... Узелок завязался, видно, давно...». Директору было приятно сознавать, что он окажет услугу Степанычу, и потому ещё, что считал себя обязанным заботиться о старике, раз уж так получилось, что тогда, той незабываемой фронтовой ночью, не он, а его сын шагнул навстречу смерти.

А Степаныч как сидел, так и остался сидеть на лавке. Он никак не хотел смириться с тем, что больше нет Варвары, что он так и не увидел её. Но теперь уже никто не помешает ему увидеть сына.

Внезапно он оживился и поднялся, как будто бы смерть Варвары не подводила только что и под его жизнью черту. «Сын, сын... он должен жить в этом доме! Пусть с отцом живут! Сколько же ему стоять осиротевшему... Вот так-то, вторая половина тоже оживёт, и крылечко не будет пустовать...»

Одна мысль сменяла другую. Он хотел представить завтрашнюю встречу с сыном и не мог. Слишком большая радость от возможности счастья, слишком большая горечь утраты. «Нет, я не посмею сказать, что не тот, кто держал его на коленях, его отец! Так и Варвара решила... А Евдокия? Ей надо знать, что она не одна на этом белом свете...».

Он никогда по-настоящему не верил, что Варвара ушла тогда совсем, слишком отчётливо он слышал слёзы в её голосе, когда она ему кричала: «Не ходи, не ходи-и-и за мной...» И он знал, что она к нему приходила, невидимая, голос её был живой. И тогда в нём оживал тот, который, казалось, умер, когда она ушла. Вот и теперь он занимает в нём больше места, чем седой и ссутулившийся старик, хотя все почему-то видят не того, счастливого и полного надежд, а этого — который стоит на самом краю жизни. «О чём ты думаешь, голова садовая? — обращается к себе

Степаныч. — Какая тебе Варвара! О душе своей молись! Сгорело прошлое, ушло, как вчерашний туман...»

— Тебе плохо, пап? — подходит к отцу Евдокия.

— Мне хорошо, дочка! Расквиталась со мной жизнь по всем статьям. Я на неё не в обиде...

«Действительно, — подумал Степаныч, — что б хорошего было, если б она меня увидела теперь или я её — ничего-о-ошеньки ж от нас прежних не осталось! А так мы светили друг другу...»

Ужинали молча. Дочь чувствовала, что не тот это момент, чтоб говорить, лишь бы не молчать, но молчание нарушил сам старик.

— А что, Евдоха, — так он называл её, когда был в хорошем расположении духа. И Евдокия подумала сразу: «Приободриться хочет! Сбросить что-то, что давит его». — Не осталось там в наших запасах старого вина? — продолжал отец. — Принеси, помянем одну светлую душу!

И опять Евдокия почувствовала: говорить отцу, что ему вино пить нельзя, сейчас глупо и неуместно. Значит, так надо!

Отец налил до краёв стакан дочери и себе до краёв. Держал стакан и глядел мимо Евдокии. И опять повисло молчание.

Евдокия насмелилась.

— Пап, ну ты же знаешь, что у меня никогда никого... ты же самый мне дорогой человек на этой земле, а я вижу, как ты страдаешь... И в больнице видела. Притворяешься, что спишь, а у самого слёзы бегут...

— Что ты придумала? — гладит её руку отец. — Ты только знай, что в жизни всё так напутано. Мы под одним законом живём, но это не значит, что так оно и должно быть... не всё правда, что по нашим меркам — правда. Душа живёт сама по себе, ей что хочешь тверди, а ежели не соглашается с тобой — то и живёт по-своему. Понимаешь?

Евдокия пожала плечами:

— Говори прямо, пап.

— Жил я сам по себе, а душа — сама по себе, дочь. Более ничего не скажу! Не имею права и на это...

Тут Степаныч собирается с духом сказать главное, что его тревожит, а слова получаются обыкновенные, и в них он только путается.

— Ну чего это ты, пап, — улыбается Евдокия, — будто и говорить разучился.

— Григорий Савельевич, корольковский наш, — ты, поди, его и не помнишь! — пущай живёт в нашей второй половине, с сыном Иваном...

Рука у Степаныча, державшая вилку, начинает дрожать, касаясь стакана, издавая звон.

Дочь отодвигает в сторону стакан:

– Отчего же... конечно, но ты ведь говорил, что внуку... Но если...

Так и не нашёл слова, которые хотел сказать дочери в ответ, Степаныч, а та, чтоб преодолеть неловкость, стала убирать лишнее со стола. Ей и самой передалось волнение отца.

– Да что ты такой потерянный сидишь, ешь! Пускай переезжают, а то я порой боюсь заходить туда — мыши бегают...

– Ну вот и ладно, — облегчённо сказал Степаныч, — завтра поеду и скажу, только там печь дымила, надо бы посмотреть — не попало ли что в дымоход, ну, до холодов ещё успеется... А дом им понравится, как думаешь? — в первый раз за весь вечер оживился старик.

До хутора доехали быстро. Антон шутил:

– И погодка нам выпалась! Ни дождя, ни снегу — как раз для нашего брата шофёра.

Идущая от колодца с вёдрами воды женщина указала на неказистый домишко:

– Туточки живёт Григорий Савельевич, дома он, — сказала, замедлив шаги и пристально разглядывая пассажиров...

«Туточки, значит, она и прожила свою жизнь... — подобие улыбки просветлило лицо Степаныча. — Да не свою, может...»

За глухими деревянными воротами залаяла собака, а Степаныч, открывший было дверцу, замешкался — подступило опять.

- Погоди, Антон, я сейчас... этого не может быть... Неужели не увижу его...

Выйдя на собачий лай из дому, Григорий Савельевич сразу узнал машину, которая тогда увозила его в больницу, увидел и Ивана Степаныча, повисшего на руках молодого человека. «Прошлое преследует человека как тень», — промелькнуло у него в голове, и он кинулся на помощь Антону. Занесли старика в дом.

– Погоди, не мельтеши, Григорий... Я слышал, ты в Корольках собрался строиться, так ты того... ко мне переезжай. — Степаныч попытался приподняться, и к нему сразу потянулись четыре руки: «Не двигайся, врача привезём сейчас...» Но Степаныч торопливо водил рукой по груди и уже не

хотел останавливать такой трудный для него разговор. — Ты прости меня, Гриш, я прошу тебя, переезжай... С Иваном... вторая половина дома пустует...

Он тяжело откинулся головой на подушку. Григорий Савельевич махнул Антону, чтоб тот ехал за врачом, и, когда тот побежал к машине, крикнул вслед:

– За Иваном, за Иваном на МТФ заскочи.

Громко тикали ходики на стене, а Степаныч смотрел на фотографию Варвары. Такой он её не знал, но это была она, родная до каждой чёрточки. Солнце падало на её лицо, но оно то прояснялось, то уплывало в туман: слёзы мешали старику, черты размывались и уплывали, пока их не накрыла чернота.

Григорий Савельевич и сам почувствовал тяжесть в ногах и опустился на стул около больного. Забыл, забыл он начисто о своих давних подозрениях и ревности. Тайна, которую поведала ему жена, была давно уже для него не тайной, ведь никакое притворство не может скрыть любви к другому и равнодушия к мужу — как ни старалась, она тоже не могла скрыть! Сейчас прошлое подступилось к нему, и сердце отзывалось на давнюю боль. «Нельзя жить в обмане, скажу Ивану всё... мне теперь и так есть в чем каяться... Убил я в ней любовь, а вместе с любовью и саму её. Разве ж она жила...»

Когда распахнулась дверь, неподвижно лежащий Степаныч открыл глаза и всем телом устремился как бы навстречу, на самом же деле ему и на локте привстать не удалось, но глаза его засияли и осветили лицо последним огнём...

— Иди, иди к нему скорее, сынок... — подтолкнул Ивана Григорий Савельевич. И тот пошёл сразу, вдруг поняв, что за этими словами стоит что-то такое, чего и разьяснить не надо. А может, вспомнились намёки и недомолвки матери?

Схватил больного за руку, но она никак не отозвалась. Глаза Степаныча закрылись, будто все оставшиеся силы он копил для этой встречи. Показалось Ивану, что в тот миг, когда он взял старика за руку, в еле заметной улыбке его губы дрогнули, будто пытался что-то сказать... А Иван, узнавая знакомые и родные черты, смущённо пряча волнение, в первый и в последний раз упал на грудь умершего.

Врач торопился уйти, как торопятся все врачи, когда приходят слишком поздно. Потерянно топтался Григорий Савельевич, не зная, куда девать себя. Никто бы не решился утверждать, что он оплакивал умершего Ивана Степаныча, который был причиной его несчастной любви и душевной



одинокости, но и обратное утверждать было бы самонадеянно. Разве сам Степаныч не в большей мере был наказан собственной любовью?

Иван вёз в Корольки тело человека, который был его отцом. На ухабах и выбоинах машину подбрасывало, и тогда Иван придерживал голову умершего, как будто тому могло теперь быть больно.

Он остался, чтобы помочь по устройству похорон, когда его попросила Евдокия, для которой странная прихоть отца о переселении в их дом чужих людей сразу перестала быть странной и непонятной, как только она увидела Ивана. Пожалуй, больше старшего брата, погибшего на войне, этот походил на молодого отца, фотографию которого она сняла со стены и убрала подальше от людских глаз. На время похорон.

Упал первый снег, когда засветились окна во второй половине дома покойного Ивана Степановича. Корольковцы этому ничуть не удивились: на то он и дом, чтоб в нём светились окна.